

# Дар

A hand is shown from the left, reaching out towards a window. The window looks out onto a dark night sky filled with many bright, multi-pointed stars. On the windowsill, a single lit candle provides a warm, yellow light. The overall mood is contemplative and serene.

Эдуард Сероусов

# Эдуард Сероусов

## Дар

*<https://litres.ru/74128319>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Радиоастроном Аня Соколова двадцать два года вслушивается в тишину между звёздами, жертвуя браком, домом и сыном Кириллом — мальчиком, который придумал для матери короткий язык щелчков, чтобы она наконец услышала. В ночь, когда её сын снова попадает в больницу с диагнозом без шансов, узкая живая линия на спектре оказывается направленным сигналом — посылкой со звёзд. В ней — чертежи невозможного реактора и протокол, поднимающий умирающих за три дня. Мир бросается лечиться, хосписы пустеют, Кирилл встаёт с койки. Но под лекарством спрятано нечто большее. Повесть о матери, слишком долго слушавшей небо вместо собственного ребёнка, и о цене дара, который пришёл даром.

# Содержание

Пролог. После	4
Часть 1. Язык щелчков	6
Часть 2. Верхний слой	16
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Эдуард Сероусов

## Дар

### Пролог. После

Свеча даёт ровно столько света, чтобы стекло отвечало.

Аня сидит у окна, в котором больше нет города. Снаружи темно так, как не было темно на этой широте уже сто лет, — темно по-настоящему, без оранжевого подбоя на облаках, без красных огней на вышках, без холодного синего свечения, что раньше сочилось из каждого чужого окна. Только звёзды. Их слишком много, и они ей больше не нравятся.

Она поднимает руку. Два пальца, сведённые вместе, как стучат, когда хотят постучать вежливо, не кулаком. Подносит к стеклу.

Щёлк-щёлк. И третий — сбитый, не в такт.

Звук выходит сухой, костяной, чуть громче, чем она хотела. В пустой холодной комнате он кажется почти неприличным — кашель в церкви.

И она ждёт.

Где-то капает вода — кран, который больше нечем починить, потому что человека, который умел его чинить, теперь чинят самого, медленно, и неизвестно, выйдет ли. Капля. Ещё капля. Аня считает их, как считала когда-то отсчёты

на спектрометре, как считала пульс на тонком запястье, как считают всё, во что больше не во что верить, кроме счёта.

Двенадцать капель.

Она снова подносит пальцы к стеклу.

Когда-то она потратила двадцать лет, вслушиваясь в тишину между звёздами, уверенная, что однажды тишина заговорит. Она была права. Это было худшее, в чём она когда-либо оказывалась права.

Теперь она сидит в темноте, которую выбрала, в темноте, которую выбрали восемь миллиардов, и стучит в стекло коротким глупым кодом, который придумала не она, — придумал мальчик, которому надоело, что мать его не слышит.

Щёлк-щёлк. И сбитый третий.

*Ты здесь?*

Стекло холодное под пальцами. За ним — звёзды и тот, кто прислал их слишком много.

Аня ждёт ответа.

# Часть 1. Язык щелчков

В три часа ночи обсерватория принадлежала только Ане и машинам.

Это было лучшее время — единственное, в которое она ещё любила свою работу. Днём здесь ходили люди, говорили вслух, спрашивали, как продвигается, и в их вежливости она слышала то, что слышат все выгоревшие: жалость к человеку, который потратил жизнь, слушая то, чего нет. Ночью оставался только ровный гул серверных стоек, холодный, как горный воздух, и зелёный спектр на трёх мониторах — водопад частот, в котором она научилась узнавать каждую морщину, каждую помеху, каждый отголосок далёкой грозы над Андами.

Двадцать два года. Она пришла сюда в двадцать шесть, уверенная, что услышит голос. Не «сигнал» — она и тогда уже презирала это пресное слово, — а голос: кого-то, кто сказал бы наконец, что мы не одни в этой холодной комнате размером со вселенную. Ей было сорок восемь. Голоса не было. Была тишина — огромная, безупречная, терпеливая тишина, и Аня научилась слушать её так, как другие слушают музыку: ради самой тишины.

Тишина стояла ей мужа. Стоила ей сына — не сразу, по капле, по пропущенному утреннику, по забытому «позвони, как доедешь». К сорока восьми у неё остались наушник в ле-

вом ухе, спектр на мониторах и привычка кусать ребро большого пальца, когда она вслушивалась.

Она вслушивалась.

Прибор поймал это в 03:14.

Сначала — морщина на водопаде. Узкая. Слишком узкая. Природа не делает таких узких линий: гроза, квазар, пульсар — всё это широкополосно, размазано, грязно. Узкая линия — это всегда либо чей-то спутник, либо чей-то передатчик, либо ошибка. Аня перестала кусать палец.

Линия не уходила.

Она держалась — тонкая, как нить, на частоте, где не было ни одного известного ей источника, и в ней была структура. Не равномерный тон маяка. Что-то менялось внутри неё, ритмично, с периодом, который Аня почувствовала прежде, чем посчитала, — так чувствуют чужой пульс под пальцами.

Двадцать два года она ждала, что в этот момент закричит, побежит, разбудит весь мир. Вместо этого она сидела очень тихо и боялась дышать, как бояться спугнуть птицу.

Телефон завибрировал на столе.

Глеб. В 03:16 ночи — Глеб, который не писал ей по ночам уже три года, с тех пор как они перестали быть людьми, которым есть что сказать друг другу в три часа ночи.

Сообщение было короткое.

*«Приезжай. Ему хуже.»*

И мир, который двадцать два года был ровно разделён на «там» и «здесь», на голос между звёздами и голоса, которые

она не слушала дома, — этот мир сошёлся в одну точку на холодном экране телефона, в три часа шестнадцать минут ночи, ровно тогда, когда тишина наконец начала говорить.

Потом — и она будет помнить это, будет помнить с той ясной, тошнотворной ненавистью к себе, которая станет потом её постоянной спутницей, — потом она колебалась.

Не долго. Секунды три. Но она колебалась.

Линия на мониторе была живая. Если уйти сейчас, аппаратура запишет всё, конечно, запишет, машины не спят и не отвлекаются на сыновей, — но не она увидит это первой. Двадцать два года, и вот оно, и оно случилось в её смену, в три часа ночи, когда здесь только она и —

*«Ему хуже.»*

Аня встала. Руки делали всё сами: пометила диапазон, запустила резервную запись на три накопителя, выставила приоритет — машины будут стеречь нить, пока её нет. Это заняло сорок секунд. Сорок секунд, за которые хорошая мать была бы уже в машине.

В дверях она остановилась. Вернулась. Вынула из уха наушник, который носила всегда, переключила на живой поток и вставила обратно.

Она поехала к умирающему сыну, и в левом ухе у неё всю дорогу тихо шуршала тишина между звёздами, в которой теперь была тонкая живая нить, — на случай, если нить заговорит, пока она ведёт машину сквозь спящий город к больнице, где её ждал мальчик, придумавший когда-то для неё

язык покороचे, потому что длинных слов она не слышала.



Детское отделение спало синим больничным сном. Аня шла по коридору, и подошвы её кед были единственным звуком, кроме писка где-то за дверями и шипения тишины в её ухе.

Глеб стоял у палаты, прислонившись к стене, и по тому, как он держал плечи, она поняла: не сегодня. Не в эту ночь. Она научилась читать его спину за годы брака лучше, чем его лицо, и спина говорила — испугался, отпустило, держится.

— Стабилизировали, — сказал он вместо приветствия. Голос был стёртый. — Час назад было плохо. Сатурация падала. Сейчас спит.

— Почему написали только в три?

Она услышала свой голос со стороны — острый, обвиняющий — и возненавидела его, но было поздно.

Глеб посмотрел на неё. Просто посмотрел, без злости, что было хуже злости.

— Потому что в час я держал его за руку, Аня. У меня были заняты руки.

Кольца на его пальце не было уже два года, но белая полоска кожи на загорелой руке осталась — как след сорванной этикетки, как линия на её мониторе: узкая, не уходящая.

Она ничего не ответила. Прошла мимо него в палату.

Кирилл спал, и во сне он был похож на себя девятилетнего — до того, как болезнь съела щёки и оставила эти тон-

кие, прозрачные запястья, на которых синяки от катетеров не успевали сходить. Вязаная шапка лежала на тумбочке. Без неё его голый череп казался слишком маленьким, слишком беззащитным, и Аня всегда отводила взгляд, и всегда ненавидела себя за то, что отводит.

На одеяле лежала тетрадь. Старая, в клетку, с обтрёпанными углами. Аня знала её наизусть. На первой странице кривым почерком восьмилетки было написано: «СЛОВАРЬ» — и ниже, столбиком, их код. Не настоящая морзянка. Кирилл начал с морзянки, выучил её за неделю в семь лет, а потом заявил, что она дурацкая, слишком длинная, и придумал свою — короче. Три щелчка, пауза, два — «ты опять не слушаешь». Один длинный, два коротких — «всё нормально, я пошутил». А самый первый их знак, тот, что он придумал в самую первую ночь, когда ей было стыдно до тошноты сидеть у его койки, — два щелчка, потом нарочно неправильный третий, сбитый, мимо ритма, — означал просто: «привет, это я, ты тут».

Кирилл называл его «сломанный привет». Он гордился им. «Он сломанный, — объяснял он ей серьёзно, восьми лет от роду, — потому что если бы он был правильный, его бы кто угодно мог сказать. А сломанный — только мы».

Аня села на стул у кровати. Стул ещё хранил тепло Глеба. Она не стала будить сына. Просто смотрела на него, на ровное движение тонкой груди под одеялом, и в левом ухе у неё шушшала вселенная.

— Ты её не выключаешь даже сейчас.

Она вздрогнула. Кирилл не открыл глаз. Но уголок его рта дёрнулся — он всегда просыпался тихо, как кошка, и любил поймать её на чём-нибудь.

— Кирюш. Ты не спишь.

— Я слышал, как ты пришла. У тебя кеды скрипят. — Он приоткрыл один глаз. Серый, ясный, слишком взрослый для двенадцати. — И я слышу твой космос. Он тихий, но я знаю, что он там. Как комар.

— Это не комар.

— Я знаю, что не комар, мам. — Он вздохнул, по-стариковски терпеливо. — Ты опять слушала космос, когда папа писал, да?

И вот оно — то, от чего у неё каждый раз перехватывало горло. Он не сердился. Он за неё оправдывался. Он, двенадцатилетний, умирающий, лежал и подбирал для матери удобную версию, в которой она была не плохой матерью, а просто занятым человеком.

— Я приехала сразу, — сказала она, и это было почти правдой. Сорок секунд. Один наушник.

— Угу, — сказал Кирилл.

И поднял руку — тонкую, в синяках, — и постучал двумя пальцами по металлическому бортику кровати.

Щёлк-щёлк. И третий — сбитый, мимо ритма.

Сломанный привет.

*Привет, это я, ты тут.*

Аня смотрела на его пальцы — и двадцать два года тишины, и узкая нить на мониторе в сорока минутах отсюда, и голос между звёздами — всё это вдруг стало неважным, маленьким, как помехи от далёкой грозы.

Она подняла руку и постучала в ответ по тому же бортику. Щёлк-щёлк. Сбитый третий.

*Я тут.*

Это была ложь. Двадцать два года это было ложью. Но в эту минуту, в синей больничной тьме, она очень старалась, чтобы это перестало быть ложью.

— Мам, — сказал Кирилл, уже засыпая снова, голосом, который уплывал. — Когда я выздоровею, ты возьмёшь меня в обсерваторию? Послушать твой космос?

«Когда я выздоровею.» Он говорил это так, как другие дети говорят «когда я вырасту». Врачи давали ему месяцы. Глеб знал. Аня знала. Кирилл, кажется, тоже знал — и всё равно говорил «когда».

— Возьму, — сказала Аня. — Обещаю.

Это была вторая ложь за минуту. Но эту она тоже очень хотела сделать правдой.

✱

Она вернулась в обсерваторию на рассвете, не успев, с тем стеклянным звоном в голове, который бывает после бессонной ночи у чужой беды.

Нить никуда не делась.

Машины стерегли её всю ночь, послушные и неупотребимые,

и теперь на накопителях лежали четыре часа чистой записи — четыре часа узкой живой линии, державшейся на одной частоте с упрямством, которого не бывает у природы. Аня налила кофе, не выпила, забыла о нём — он остынет на краю стола, как остывали все её кофе в эту неделю, — и села разбирать.

К полудню она знала три вещи.

Первое: это повторялось. Сигнал шёл циклами — длинный блок, короткая пауза, тот же блок снова. Он не рассказывал. Он диктовал, медленно и терпеливо, как диктуют тому, кто записывает под диктовку и готов повторять, пока не запишешь правильно.

Второе: он был направленный. Не маяк, кричащий во все стороны в надежде, что кто-нибудь услышит. Узкий луч, наведённый — она проверила трижды, не веря, — наведённый сюда. На эту точку. На эту звезду среди миллиардов. Кто-то очень давно посмотрел именно на жёлтый карлик на окраине заурядного рукава и стал говорить, медленно, в расчёте на то, что однажды на этой пылинке кто-то научится слушать.

От этой мысли по спине шёл холод, который Аня двадцать два года принимала за восторг.

Третье она поняла только к вечеру, и это было третье, из-за которого она потом будет лежать без сна, перебирая, в какой именно момент можно было остановиться.

В сигнале была контрольная сумма.

Это её и убедило окончательно — не структура, не на-

правленность, а именно это: в конце каждого блока шла короткая последовательность, которая была не сообщением, а проверкой сообщения. Способом сказать «вот столько я тебе передал, пересчитай и сравни». Так делают не голоса. Так делают файлы. Так передают данные, когда хотят, чтобы они дошли без ошибки, — побитно, точно, с гарантией.

Это был не зов. Это была посылка.

Аня сидела перед монитором, и руки у неё дрожали — не от страха ещё, тогда она не умела бояться этого правильно, — дрожали от того огромного, тщеславного счастья, которое и было её ядом. Она оказалась права. Двадцать два года, муж, сын, все пропущенные утренники — она оказалась права, тишина заговорила, и заговорила с ней.

Она прогнала контрольную сумму. Сошлось. Блок принят без ошибок.

И тогда она заметила то, на что натренированный глаз натывается раньше, чем понимает, что увидел.

Контрольных сумм было две.

Одна закрывала блок — обычная, честная, «пересчитай и сравни». А внутри неё, вложенная, как матрёшка в матрёшку, шла вторая — закрывавшая что-то, чего Аня ещё не видела. Что-то внутри сообщения, упакованное отдельно, со своей собственной проверкой целостности. Сумма внутри суммы. Свёрток внутри свёртка.

Аня смотрела на неё долго.

Двадцать два года она хотела, чтобы тишина заговорила, и

ни разу за двадцать два года не задумалась всерьёз о простой вещи: у всякого сообщения есть отправитель, и у отправителя есть причина. Она думала о голосе. Она не думала о том, кто и зачем строит посылку с двойным дном.

Тогда она отмахнулась. Списала на вложенный формат, на упаковку внутри упаковки — обычное дело, ничего зловещего. Налила свежий кофе взамен забытого. Позвонила Самиру и сказала четыре слова, после которых для восьми миллиардов людей перестала идти прежняя жизнь:

— Самир. Оно настоящее. Приезжай.

И только повесив трубку, поймала себя на том, что левая её рука без всякого приказа выстукивает по краю стола — тихо, костяно: щёлк-щёлк, сбитый третий.

Сломанный привет.

Она не заметила, когда начала. И не смогла вспомнить — кому.

## Часть 2. Верхний слой

Самир Дауд не верил в инопланетян. Это была одна из причин, по которым Аня его терпела.

Он приехал к вечеру следующего дня — небритый, в рубашке с закатанными рукавами, с дорожной сумкой, из которой первым делом достал не ноутбук, а два метронома. Поставил их на стол рядом, не объясняя зачем. Он всегда так делал, когда предстояло думать; говорил, что ему нужно что-то качающееся в поле зрения, иначе мысль не качается.

— Покажи мне твою контрольную сумму, — сказал он вместо «здравствуй». — Если это спутник, я уеду к утру, и ты больше никогда не позвонишь мне в три часа ночи.

Она показала.

Он смотрел долго. Завёл один метроном — тот качнулся, защёлкал, отбивая своё. Самир считал вслух, тихо, под нос: «раз-и, два-и», — как делал всегда, будто проверяя мир на должность.

— Это не спутник, — сказал он наконец, и в голосе впервые не было сухой насмешки. — Спутник не несёт двух контрольных сумм. — Он постучал пальцем по экрану, по вложенной, внутренней. — Зачем во что-то, что и так упаковано, класть ещё одну упаковку со своей проверкой?

— Вложенный формат.

— Может быть. — Он не отрывал глаз от экрана. — А

может быть, кто-то хочет быть уверен, что внутреннее дойдёт целым, даже если внешнее повредится. Так делают, когда внутреннее важнее внешнего. — Второй метроном он не заводил. — Давай вскрывать.

Они вскрывали внешний слой шесть дней.

То, что они нашли, было не языком.

Аня двадцать два года готовилась переводить — выстраивать словарь, искать грамматику, ловить, как чужой ум режет мир на понятия. Она ждала стихотворение, теорему, молитву, угрозу — что угодно, что один разум говорит другому. Этого не было. Под внешним слоем не было сообщения, адресованного уму. Там были инструкции, адресованные рукам.

Чертежи.

Сначала они не поверили. Потом Самир три ночи пересобирает схему по присланным правилам — и на четвёртую откинулся на стуле, белый, и сказал очень тихо:

— Это реактор.

— Что?

— Это источник энергии, Аня. Я не понимаю, как он работает. Я понимаю, что он работает. — Он развернул к ней экран. — Тут описано, что собрать, в каком порядке и из чего. Из обычного. Из того, что есть на любой планете с таблицей Менделеева. И если я не ошибся в сборке — а я проверил восемь раз, — на выходе энергии больше, чем на входе, и я не знаю, откуда она берётся, и в этом-то весь ужас, пото-

му что схема не врёт.

Это была первая половина посылки.

Вторая была хуже — или лучше; в ту неделю Аня ещё путала эти слова.

Вторая половина не строила машину. Она описывала вмешательство. Последовательность сигналов — электрических, химических, тончайших, — которые нужно подать живой нервной ткани, чтобы починить в ней сломанное. Не лекарство в привычном смысле. Протокол. Способ сказать больному телу, тихо и точно, на его собственном языке: чини себя вот так.

Медицина. Медицина, которой человечество не достигло бы и за сто лет.

— Это установщик, — сказала Аня, и сама удивилась слову. — В хорошем смысле. Оно не рассказывает нам о себе. Оно даёт нам делать.

Самир молчал. Он смотрел на свой метроном — тот давно остановился, и заводить его снова он не стал.

— Меня смущает одно, — сказал он. — Формат.

— Что с форматом?

— Всё в одном. — Он провёл пальцем по экрану, по структуре пакета, и Аня впервые увидела её его глазами — не как чудо, а как чертёж чертежей. — Энергия, медицина, проверки целостности — всё закодировано одинаково. Один синтаксис. Очень... — он искал слово, — очень аккуратно. Слишком. Как будто тот, кто это писал, не выносит, ко-

гда что-то закодировано иначе, чем всё остальное. Как будто для него важнее всего, чтобы всё было в одном формате.

Тогда это прозвучало как комплимент инопланетному инженеру. Аня запомнила фразу, потому что она была красивая, и потому что Самир редко говорил красиво. Она запомнит её ещё раз — много позже, в темноте, когда красивое в ней станет страшным.

— Они аккуратные, — сказала она. — Что плохого в аккуратности.

Самир посмотрел на два своих метронома, стоящих рядом и молчащих.

— Ничего, — сказал он. — Пока их два, и они молчат.



Тайны не стало за одиннадцать дней.

Аня не понимала, как утекло, — потом узнала: никак особенно, обычным человеческим путём, через слишком многих обрадованных людей, не умеющих молчать о чуде. Сначала комитет. Потом правительства. Потом — и это было неизбежно, как падение, — Виктор Лэнг.

Она впервые увидела его на экране, в зале с тёплым деревом и холодными камерами, и сразу поняла, почему именно он. Он не выглядел как делец. Он выглядел как человек, которому за тебя больно.

— Нам прислали ответ, — говорил Лэнг негромко, и тысячи людей в зале молчали, чтобы расслышать; он никогда не повышал голоса, это была его сила, мир сам наклонялся

к нему. — На вопрос, который человечество задавало небу с тех пор, как у нас появилось небо. И ответ оказался не словами. Ответ оказался даром. — Он сделал паузу, ровно такую, чтобы вошло. — Энергией, которой хватит всем. Медициной, которая не спрашивает, богат ты или беден. Я слышу, как уже спрашивают: а поняли ли мы, как это работает? — Он улыбнулся, без насмешки, почти нежно. — Друзья. Когда вам протягивают огонь в холодную ночь, вы сначала просите объяснить вам горение? Или вы протягиваете руки?

Зал зашумел — тем низким, нарастающим гулом, в котором Аня узнала не согласие, а голод. Голод восьми миллиардов по чуду.

На столе перед ней молчали метрономы Самира.



Лэнг нашёл её сам, через два дня, и это было хуже экрана.

Он приехал в обсерваторию — без свиты, в безупречном костюме, с дорогими аналоговыми часами на запястье, и Аня поймала себя на том, что смотрит на эти часы: человек, продающий миру будущее, носил на руке колёсики и пружинки, старое тиканье, которому можно доверять.

— Доктор Соколова. — Он пожал ей руку обеими, тепло. — Вы открыли дверь. Я всю жизнь буду перед вами в долгу. И весь мир со мной.

— Я пока не уверена, что мы поняли, что за дверью.

— Никто никогда не уверен, — сказал он мягко. — В этом и состоит храбрость — входить.

Рядом с ним стояла девушка. Лет шестнадцать, тонкая, очень прямая. Лэнг положил ладонь ей на плечо с осторожностью, какой не было в его публичном спокойствии, — с осторожностью человека, держащего то, что однажды чуть не разбилось.

— Моя дочь. Эва. — В его голосе что-то дрогнуло, единственный раз. — Полгода назад ей оставалось три недели. Та же болезнь, доктор Соколова, что и... — он осёкся, деликатно. Он знал про Кирилла. Он, кажется, знал всё. — Протокол из вашего сигнала вернул мне её. Полгода назад я хоронил жену от этой болезни и готовился хоронить дочь. Теперь жены нет, а дочь стоит здесь. Вот что вы открыли.

Эва смотрела на Аню. Она была красивая, и здоровая, и совершенно спокойная — и было в этом спокойствии что-то, от чего Аня, сама не зная почему, захотела отступить на шаг. Девочка стояла слишком прямо. Руки её висели вдоль тела слишком ровно, без той мелкой бессмысленной жизни, что есть в руках живого человека, — без того, чтобы поправить волосы, тронуть рукав, сжать пальцы.

— Здравствуйте, — сказала Эва. Голос был чистый и пустой, как вымытое стекло. — Папа много про вас говорит. Спасибо вам.

— Тебе... лучше? — зачем-то спросила Аня.

Эва чуть склонила голову набок. Помолчала — на долю секунды дольше, чем молчат люди.

— Мне хорошо, — сказала она. — Нам хорошо.

— «Нам»?

Но Лэнг уже говорил о другом — о первом наборе, о том, что мест мало, что он лично проследил, чтобы Кирилл Соколов был в списке, что у мальчика будет всё, лучшие врачи, что это меньше, чем он может отплатить, — и Аня слушала его вполуха, как привыкла слушать вполуха всё на свете, и за этим вполуха почти не заметила оговорки шестнадцатилетней девочки, стоявшей слишком прямо у окна, лицом к небу, которого за окном ещё не было видно.

Почти.



— Какая мать откажет?

Глеб сказал это не зло. В том и был ужас, что не зло.

Они стояли в коридоре больницы, под синими лампами, и в руках у Глеба было согласие — два листа, которые превращали Кирилла из умирающего в первого исцелённого. Нужна была её подпись. По закону требовались обе, отца и матери, — может быть, единственный закон, который ещё помнил, что у мальчика двое родителей.

— Я не отказываю, — сказала Аня. — Я прошу неделю. Дай мне неделю разобрать второй слой.

— Неделю. — Глеб смотрел на неё так, будто она заговорила на одном из своих кодов. — У него нет недели, Аня. Врачи дают дни. Дни. А ты просишь неделю, чтобы... что? Чтобы перепроверить инопланетный бог знает что?

— Там вложенная контрольная сумма. Там что-то внутри,

под лекарством, что мы не вскрыли. Я не знаю, что это...

— Вот именно. Ты не знаешь. — Он понизил голос, и в нём прорвалась вся усталость трёх лет. — Ты никогда не знаешь, Аня, но всегда что-то слышишь. Двадцать лет ты слушала небо вместо нас. Теперь небо протянуло руку и говорит: бери, я верну тебе сына. И ты опять что-то слышишь? Опять между нами и твоим космосом стоит какой-то шум, который слышишь только ты?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.